

М. МОСОВ



Как
шутят в старину

Николай Николаевич Носов

Как шутили в старину

Теперь я уже довольно пожилой человек. То есть я совсем не какой-нибудь дряхленький старичок, но лет мне, по правде сказать, порядочно. Зато душой я, как принято говорить, ещё молод и очень люблю детей. И люблю вспоминать о своём детстве.

Могу закрыть глаза и увидеть себя маленьким мальчиком, лет пяти или, может быть, четырёх. Вот я стою перед матерью, а она помогает мне одеться, потому что я собираюсь идти гулять. Для меня гулять — это самое лучшее, что только может быть на свете. Какое счастье — гулять во дворе!

Мама застёгивает на все пуговицы моё пальто и завязывает вокруг шеи тёплый шерстяной шарф. И сейчас ещё я как будто слышу её тихий, ласковый голос, чувствую тёплое прикосновение её милых рук, но почему-то неясно различаю лицо, может быть, потому, что в толстом зимнем пальто с поднятым воротником и шапке-ушанке я слишком неповоротлив и мне трудно поднять вверх голову.

Завязав шарф, мать велит, чтобы я не гулял слишком долго, не ходил чтоб на улицу, не попал чтоб под лошадь или автомобиль. В те далёкие времена автомобили уже были, но ещё многие ездили на лошадях. Так что для маленького человека вдвойне было опасно выходить на улицу и в особенности гулять посреди мостовой.

И вот я уже во дворе: Разглядываю плачущие под крышей дома прозрачные ледяные сосульки, тыкаю палкой в кучу мокрого, рыхлого снега, который почернел от долгого лежания, но внутри ещё белый, как вата. День по-весеннему тёплый. Чувствуется, как сквозь пальто пригревает спину мартовское солнышко. Воздух свежий, упоительно сладкий. Хочется дышать глубоко, полной грудью, чтобы надышаться про запас, надолго.

На улицу мне не хочется выходить, потому что, по правде сказать, я трусишка. Мне кажется, что как только я выберусь за ворота, так сейчас же случится какая-нибудь беда: меня схватит Баба-Яга или Кашей Бессмертный, загрызёт бешеная собака, спрячет в мешок трубочист (меня тогда постоянно трубочистом пугали, чтоб я не шалил), может быть, наконец, просто калитка исчезнет, как это случается в сказках, и я не найду уже больше дороги домой. Нет, уж лучше находиться поближе к дому, чтоб он всё время был у меня на виду.

В углу двора, у раскрытых дверей сарая, дворник дядя Илья и ещё какой-то незнакомый мне дядька пилят на козлах дрова. У этого незнакомого дядьки чёрная барашковая шапка на голове, чёрные, цыганские, пронзительные глаза и чёрная, как большой кусок чёрной липучей смолы, борода. От работы они разогрелись оба, сняли с себя засаленные полушубки, которые лежали тут же, на куче нераспиленных брёвен.

Я боюсь этого чёрного дядьку, но мне нравится смотреть, как работают люди. Пристроившись неподалёку, у стены дома, на лавочке, я сижу, свесив ноги, и смотрю, как всё глубже пила вгрызается в дерево, блестя на солнышке своими острыми зубьями. Она звенит и хрипит, словно живая, а перегрызя наконец бревно, издает какой-то радостный, торжествующий звук: „Пю-оу!“.

От сыплющихся из-под зубьев опилок приятно пахнет сосной. Монотонный, повторяющийся звон пилы убаюкивает меня, и, как будто сквозь сон, я слышу:

— А ну, мальчонка, нечего там сидеть. Иди-ка ложись на козелки, мы сейчас отпилим тебе головку.

Это говорит чёрный дядька. Я гляжу на него и встречаюсь с чёрными угольками его хитрых, нахальных глаз. Он нехорошо ухмыляется, показывая свои ровные белые зубы.

„Неужели это он мне говорит?“ — с ужасом думаю я и хочу убежать, но от страха не могу сдвинуться с места.

Дядя Илья успел между тем положить на козлы новое бревно и говорит:

— Погоди, с этим успеется. Распилим сначала ещё поленце.

— Ну ладно, — соглашается чёрный и, поправив на голове шапку, хватается за пилу своими ручищами.

Снова звенит пила, уходя с каждым движением всё глубже в дерево. Я бесшумно соскальзываю с лавочки и, втянув голову в плечи, быстро крадусь под стеночкой к спасительной двери. Вот уже совсем близко ступеньки лестнички. Как бы мне не споткнуться на ней! Слышу позади громкий хохот, но боюсь даже обернуться и моментально захопываю за собой дверь.

— Что же ты так рано вернулся? — спрашивает мать, увидев, что я пришёл.

— Не хочу больше гулять, — говорю я и решительно стряхиваю с себя пальто.

— Удивительно! — пожимает плечами мать. — То не дозовёшься никак со двора, а тут сам вдруг пришёл.

— Там дядя Илья, — говорю я, — и ещё чужой дядька. Они отпилят мне пилой голову.

— Ты, должно быть, баловался? Мешал им?

— Ничего не мешал, а они говорят: ложись, мальчик, на козелки, отпилим тебе головку.

— Ну, они пошутили просто.

— Как это — пошутили? — не понимаю я.

— Ну, так просто сказали, чтоб посмеяться.

— Разве смешно, когда отпилят голову? — недоумеваю я.

— Да они и не собирались отпиливать тебе голову. Вот чудной!

— Значит, обманули меня?

— Ну, не обманули, а пошутили.

Я всё же не понимаю, что значит — шутить, и боюсь выходить из дому.

Через некоторое время мать говорит:

— Хочешь пойти со мной к тёте Лизе? Кстати, по дороге зайдём к сапожнику, может быть, он уже починил папины туфли.

Я снова влезаю в свое пальто, и вскорости мы у сапожника.

Сказать по правде, это тоже какой-то подозрительный человек, до ушей заросший густой щетиной. Теперь таких сапожников не бывает больше. Он берёт для починки нашу обувь, а потом долго не отдаёт обратно, заставляет приходить за ней раз по двадцать. Его щетинистые, похожие на старую одежную щётку усы прокурены табаком, отчего порыжели внизу; руки заскорузли; твёрдые, словно деревянные, пальцы разошлись и потрескались, а в трещины въелась чёрная грязь, так что ему теперь уже небось и не отмыть её. На носу, испачканном сапожным варом, очки со сломанной и перевязанной толстой суровой ниткой металлической дужкой.

Он сидит перед верстаком на низенькой табуретке, сиденье которой сделано из кожаных ремней. Рядом в железном тазу с какой-то красной вонючей жидкостью киснут кожаные подметки, а кругом — и на верстаке, и на полу, и на полках — деревянные сапожные колодки, напоминающие отрубленные человечьи ноги разных размеров. Я со страхом смотрю на эти „ноги“, а сапожник объявляет матери, что туфли отца ещё не готовы, но обязательно будут готовы, как он всегда говорит, „к завтраму“.

Потом он кивает на меня головой и спрашивает:

— Скажите, а этот мальчик вам очень нужен? Продайте-ка его мне. Я хорошо заплачу за него.

— Не могу, — говорит мать, — он мне самой нужен.

— Для чего вам? Вы себе где-нибудь другого достанете. Я вам за него двадцать рублей дам.

Я вижу, как он хитро подмаргивает матери одним глазом, явно стараясь склонить её на свою сторону. Чувствуя, что моё дело плохо, я с плачем цепляюсь за юбку матери.

— Ну, глупый! Дядя ведь шутит! — успокаивает меня мама. Разве я тебя отдам кому-нибудь?

— Хе-хэ-хэ! — сипло смеётся, прищулив глаза, сапожник.

Он, видно, рад, что напугал меня, а мне противны и его лицо, и голос, и его сиплый дурацкий смех. Я успокаиваюсь лишь после того, как мы выходим на улицу из его пропахшей всевозможными запахами мастерской.

Наконец мы у тёти Лизы, где я чувствую себя в полной безопасности.

Мне нравится ходить в гости к тёте Лизе, потому что она очень весёлая и красивая. У неё гордая, как у лебедя, шея; щёки с ярким, свежим румянцем, будто она только что пришла с мороза; глаза синие, загадочные; брови чёрные, бархатистые, почему-то каждый раз хочется

погладить их пальцем; губы — как спелая вишня, всегда смеются; волосы тёмные, с длинными, тяжёлыми локонами, мне как раз почему-то такие нравятся. Платье на ней всегда какое-нибудь яркое, с цветочками, которые я люблю разглядывать. Детей у неё нет, поэтому она безумно любит, когда я прихожу к ней с мамой (сама сказала), и всегда угощает меня конфетами.

В доме, где она живёт со своим мужем, то есть с дядей Витей, много разных интересных вещей, но мне больше всего нравятся два фарфоровых китайчонка, которые сидят рядом на полочке и неустанно кивают головками. Как только мы приходим, я сейчас же пристраиваюсь к китайчонкам, толкаю их в лоб, чтоб они начали кланяться, и смотрю на них, смотрю, пока не унесусь в своих грёзах в далёкую сказочную страну — Китай, где среди изумительно красивых пагод и лёгких, словно воздушных, бамбуковых домиков с важностью ходят китайцы в длинных халатах и китайянки с веерами в руках, бесшумно бегает рикши со своими колясочками, неторопливо шагают слоны, на которых китайцы любят кататься.

Мне обо всём этом рассказывал дядя Витя, только он говорил, что китайцы такие же люди, как и мы с вами, но в моём представлении они почему-то такие же крошки, как эти фарфоровые куколки. Весь их Китай, вместе со слонами и пагодами, представляется мне таким крошечным, что на него без умиления нельзя смотреть.

— Он сказал, что ты очень красивая, — говорит мама тётё Лизе.

Это она про меня.

— Недавно у нас был разговор о тебе, — смеётся мама.

Тётя Лиза начинает хохотать, словно безумная, но меня не оскорбляет её смех. Это правда — я на самом деле сказал, что она красивая, и не нахожу в этом ничего скверного.

— А разве твоя мама некрасивая? — спрашивает меня тётя Лиза.

— Как так? — удивляюсь я. — Моя мама тоже красивая.

— А кто из нас красивее?

— Не знаю.

— Нет, ты скажи, не хитри.

Она садится на диван рядом с мамой, чтоб я мог получше сравнить их. Я старательно вглядываюсь в их лица, но разве можно сравнить с кем-нибудь мою несравненную мамочку! Красота её не такая яркая, как красота тёти Лизы, но зато она вся бесконечно милая и родная.

— Вы обе очень красивые, — говорю я.

Это вызывает у тёти Лизы бурю восторга. Она хватается за меня на руки и начинает целовать. Я же изо всех сил стараюсь вырваться из её объятий. Вот уж чего терпеть не могу, так это поцелуев! Другое дело, конечно, если целует мама. Её поцелуи обладают чудесной

успокаивающей, умиротворяющей и даже болеутоляющей силой. Даже если болит голова, то и голова может перестать болеть.

Муж тётки Лизы, дядя Витя, — тоже хороший человек. Он очень спокойный, тихий, никогда не дурачится, как тётка Лиза, разговаривает со мной, как с равным, и всегда мастерит для меня из бузины, которая растёт у них во дворе под окном, свистки. Пока мы с ним возимся со свистком, мама и тётка Лиза беседуют о чём-то своём. Тётка Лиза то и дело фыркает от смеха и украдкой поглядывает на меня, но я не обращаю на это внимания.

Наконец свисток сделан, и мы собираемся уходить.

— А ты зачем одеваешься? — спрашивает тётка Лиза, увидев, что я хочу надеть пальто. Её красивые бархатные брови ползут вверх. — Ты останешься жить у нас.

— А мама? — спрашиваю я испуганно.

— Мама пойдёт домой.

— Я хочу с мамой.

— Зачем тебе мама? Ты уже большой. Теперь я буду тебя кормить, одевать.

— Нет, я не хочу без мамы!

— Ну, мама будет приходить к нам по воскресеньям. Иногда мы с тобой будем приходить в гости к маме.

Она отнимает у меня пальто и вешает его высоко на вешалку, где я не могу достать.

— Отдай! — реву я.

— Нет, нет! Я с мамой уже договорилась. Ты теперь будешь мой.

Она снова хочет схватить меня на руки, но я изо всех сил отбиваюсь от неё руками и ногами и плюю ей прямо на платье.

— Фу, какой гадкий! — говорит тётка Лиза. — Не приду к тебе в гости.

Одевшись и выйдя на улицу, я долго шагаю в угрюмом молчании и только сильнее сжимаю руку матери, словно боюсь потерять её.

— Какая злая! — бормочу в возмущении я.

— Ну и глупый! — усмехается мать. — Тётка пошутила, а ты плюёшься, как верблюд, фу!

— А зачем ты меня хотела отдать?

— Да никто не хотел и брать-то тебя! Шутки не понимаешь!

„Что это за шутки такие? — мучительно ломаю голову я. — Один говорит — „отпилю голову“, другой — „продайте мальчика“, третья хочет просто забрать навсегда, и всё это говорится

только, чтоб посмотреть, поверю я или нет. Если поверю, то, значит, глуп ещё и надо мной можно смеяться“.

Мне, однако ж, не нравится, когда меня считают глупым, и я стараюсь каждый раз догадаться, правду говорят или просто для смеха. Только угадать мне не всегда ещё удаётся.

Вот мы и дома. Вечер. Отец приходит с работы. В руках у него бумажный фунтик. Я с радостью бегу навстречу;

— Что принёс, папка?

— Гвозди жареные, сынок, маленькие и большие.

— Вот хорошо! Мне больших, — говорю я и, запустив в пакет руку, вытаскиваю горсть обыкновенных железных гвоздей.

Всё смеются, видя моё недоумение, а я прячусь за шкаф и не хочу вылезать оттуда.

— Знаешь, ты кто? Ты осёл, — сообщает мне мой старший брат, который уже ходит в школу и поэтому считает себя очень умным. — Разве ты не знаешь, что гвозди железные? Их не едят, а забивают в стену.

Ещё бы я не знал этого! Но когда отец сказал „жареные“, я подумал, что он говорит о каких-то ещё не известных мне, съедобных гвоздях; и вот снова попался на удочку. Может быть, если бы я как следует поразмыслил, то догадался бы, что отец шутит, да вся беда в том, что я ещё не научился как следует думать.

Все же мне однажды удалось разгадать отцовскую шутку, и это доставило мне такую радость, что я даже расхохотался.

У нас есть сосед. Только он не русский, а немец. Когда была война, он попал к нам в плен, а потом так и остался жить в нашей стране. Ему у нас очень понравилось. Иногда вечером он заходит к отцу поболтать о том, о сём. Я люблю слушать их разговоры, так как немец очень забавно коверкает некоторые наши слова.

— А ваш старшенький ошен кароший малшик, — хвалит немец моего старшего брата. — Я иногда приходиться, он всегда за книжном сидеть. Ошен смирный!

— Да, — соглашается с серьёзным видом отец. — Он у нас действительно смирный... когда спит, — добавляет отец как бы вскользь.

Брат, который обычно по целым дням гоняет со своими друзьями футбольный мячик по улице и только к вечеру садится за уроки, слышит, что его хвалят, и от гордости надувается, как индюк. А я изо всех сил стараюсь понять, с чего это отец вдруг начал хвалить брата, в то время как постоянно бранит его за непослушание. Мать тоже всегда жалуется на различные его шалости. И потом, думаю я, почему отец говорит, что брат смирный, когда спит? Почему, когда спит?

Я стараюсь представить себе брата спящим. Вот он лежит на кровати и мирно похрапывает. Конечно, он смирный. Во сне ведь никто не шалит — все смирные. Может быть, отец хотел сказать, что брат смирный лишь когда спит, а вообще-то, когда не спит, он вовсе не смирный?

Немец, который соображает, как видно, не быстрее меня, начинает потихонечку хрюкать. Я вижу, что он смеётся, и тоже хохочу во всё горло.

Я очень рад, что понял шутку отца. У меня стало на душе очень весело. Я то и дело вспоминал эту шутку и фыркал в кулак. А когда немец ушёл, братец позвал меня на кухню и потихоньку, так, чтоб никто не слышал, сказал:

— Хочешь, я тебе дам хорошего тумака?

В то время я ещё не знал, что это за штука — тумак, но сделал вид, будто прекрасно понял, о чём идёт речь, и сказал:

— Давай, если хороший.

Тут я получил такого тумака, что чуть не полетел вверх тормашками.

— Будешь ещё смеяться — снова получишь! — пригрозил брат.

Я опять пострадал из-за своей недогадливости, но это всё-таки не испортило моего настроения. Всё-таки в этот день я уже разгадал одну шутку, и для меня это была большая победа. С тех пор у меня стало больше уверенности в себе. Я убедился, что был не так глуп, как казалось раньше. Правда, я не сразу после этого сделался умным. Надо мной ещё часто шутили, пользуясь моей простотой. Шутили и знакомые, и незнакомые люди, и даже родные, даже отец и мой старший брат. В общем, все, кроме одного очень милого существа: моей родной мамочки.

Но всё это было уже очень давно. Теперь уже никто так не шутит. Теперь время совсем другое. И люди стали совсем не такие, как были раньше. Они стали добрые, чуткие, сердечные и весёлые. И приветливые. И очень внимательные друг к другу. Особенно к детям. Теперь уже никому не придёт в голову напугать ребёнка, посмеяться над ним или под видом шутки дать ему хорошего тумака. Нет! Многое переменялось с тех пор. И никто даже не догадывается, как это прекрасно и удивительно!